

Марина
Цветаева

Попытка ревности

Народная поэзия

Марина Цветаева
Попытка ревности

«ЭКСМО»

2014

Цветаева М. И.

Попытка ревности / М. И. Цветаева — «Эксмо»,
2014 — (Народная поэзия)

ISBN 978-5-699-72195-5

Яркий самобытный талант, предельная искренность, высокий романтизм отличают избранные стихотворения и поэмы Марины Цветаевой, вошедшие в эту книгу.

ISBN 978-5-699-72195-5

© Цветаева М. И., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Владимир Смирнов	6
Ныне же вся родина причащается тайн своих	13
Осень в Тарусе	14
Ока	15
3	15
4	15
Домики старой Москвы	16
В. Я. Брюсову	17
Идешь, на меня похожий...	19
«Моим стихам, написанным так рано...»	20
«Вы, идущие мимо меня...»	21
Встреча с Пушкиным	22
«Уж сколько их упало в эту бездну...»	24
«Быть нежной, бешеной и шумной...»	26
Генералам двенадцатого года	28
«Ты, чьи сны еще непробудны...»	30
«Над Феодосией угас...»	31
Але	32
1	32
2	32
Бабушке	34
Германии	35
Анне Ахматовой	36
«Мне нравится, что Вы больны не мной...»	37
«Какой-нибудь предок мой был – скрипач...»	38
«Спят трещотки и псы соседовы...»	39
«Заповедей не блюла, не ходила к причастью...»	40
«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!...»	41
«Цыганская страсть разлуки!...»	42
«Никто ничего не отнял!...»	43
«Ты запрокидываешь голову...»	44
«Не сегодня-завтра растает снег...»	45
«За девками доглядывать, не скис...»	46
Стихи о Москве	47
1	47
2	47
3	48
4	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Марина Цветаева

Попытка ревности

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Владимир Смирнов

Стихия стиха

Стихи – одна из форм существования поэзии. Наверное, архитектурно самая совершенная. Как раковина хранит шум моря, так стихи, если в них живут «творящий дух и жизни случай», хранят музыку мира. Без нее мир «безмолвен», как некогда писал Борис Асафьев.

В стихе кристаллизованы все возможности языка. Язык и выражает, и хранит, и таит. Лишь стихи способны в «нераздельности и неслиянности» объять содержательно-понятийное, интонационно-звуковое, музыкально-ритмическое, живописно-пластическое и множество других языковых начал. Только молитва и стих (песня!) способны разомкнуть внутреннюю форму слова, освободить множество смыслов, позволить прикоснуться к прапамяти и внять пророчествам. Верно, люди чаще всего внимают иллюзиям и обманам. Они, да простит Пушкин, «обманываться рады».

Стихи далеко не всегда проговариваются поэзией. В замысле и исполнении устройство их должно совпасть, пусть и не полностью, с «многосоставностью», по слову Анненского, личности художника (как правило, человека не столь жизни, сколь судьбы) и текучей многосмысленностью поэтического слова. С тем, что – до слова, в – слове, за – словом и после слова.

У Цветаевой об этом просто: «Равенство дара души и глагола – вот поэт». Таким поэтом она и пребывает в бескрайности русского мира, в нашем национальном мифе, в бесконечном «часе мировых сиротств». Несчастливая и торжествующая, любимая и порицаемая, и всегда родная.

Марина Цветаева прожила почти 50 лет. Но каких лет! Как прожила! Обо всем этом нынче хорошо известно. Вот уж к кому в XX веке применимо пушкинское – «и от судеб защиты нет». А обстоятельства личной жизни! А каждодневное палачество быта, с первых лет революции и до смертного часа! И при всем том непостижимая творческая мощь, «ослепительная расточительность» и «огненная несговорчивость» (выражения Георгия Адамовича по другим поводам, но чрезвычайно точные применительно к Цветаевой).

Количественные характеристики, как правило, отношения к искусству не имеют. Но размах иной художественной стихии измеряется и подобным образом. Анна Саакянц, замечательный исследователь и биограф поэта, в одной из своих работ привела такую «статистику»: «Марина Цветаева написала:

более 800 лирических стихотворений,
17 поэм,
8 пьес,
около 50 произведений в прозе,
свыше 1000 писем.

Речь идет лишь о выявленном; многое (особенно письма) обнаруживается до сих пор. Не говоря уже о ее закрытом архиве в Москве...»

Таковы труды и дни «слабой» женщины. Даже в неудавшихся вещах, а их у поэта не так мало, вибрируют чудодейственная артистичность и атлетическая изобразительность. Если же «слова и смыслы», интонация и вещий ритм; синтаксис взрыва, лавины, каменоломни – родственно и живо согласуются, то миру явлена поэзия высшего порядка.

Прокрасться...
А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем —
Пройти, чтоб не оставить следа,

Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах...
Может быть – отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал.

А может – лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха?
Распасться, не оставив праха

На урну...
Может быть – обманом
Взять? Выписаться из широт?
Так: Временем как океаном
Прокрасться, не встревожив вод...
Вот он – «Голос правды небесной против правды земной».

Цветаева жила не во времени – «Время! Я тебя миную». Она жила во временах. Ее стих несет в себе напряженную звучность, пронзительный и пронзающий лёт стрелы, пущенной воином Тамерлана через века в вечность.

Променивши на стремя —
Поминайте коня ворона!
Невозвратна как время,
Но возвратна как вы, времена

Года, с первым из встречных
Предающая дело родни,
Равнодушна как вечность,
Но пристрастна как первые дни...

Это не славолобивые хлопоты о будущем и не надежды на посмертное признание, не своеволие одержимого художника.

Философ, историк-публицист Георгий Федотов в статье «О Парижской поэзии», которая была напечатана в Нью-Йорке в 1942 году (автор не знал о смерти Цветаевой), писал о поэте: «Для нее парижское изгнание было случайностью. Для большинства молодых поэтов она осталась чужой, как и они для нее. Странно и горестно было видеть это духовное одиночество большого поэта, хотя и понимаешь, что это не могло быть иначе. Марина Цветаева была не парижской, а московской школы. Ее место там, между Маяковским и Пастернаком. Созвучная революции, как стихийной грозе, она не могла примириться с коммунистическим рабством». С последующим утверждением Федотова – «На чужбине она нашла нищету, пустоту, одиночество» – согласиться трудно. Вернее, с абсолютностью этого утверждения. Тогда откуда же при столь мертвящей скудости, в жизненной и житейской пустыне вулканическое извержение творчества, вдохновенное и неукротимое? Для этого нужны небывалые источники. В пустыне их нет. У Цветаевой, несмотря ни на что, они были. О чем-то мы знаем, о чем-то догадываемся.

Сознавая, что «ясновидение и печаль» есть тайный опыт поэта, опыт неделимый и сокровенный, можно с большой долей вероятности предполагать, что животворящий источник ее

поэзии – Россия, родина, – во всей полноте временных и пространственных измерений, красочно-пластических, звуковых, слуховых и многих других начал, «того безмерно сложного и таинственного, что содержит в себе географическое название страны», как некогда сказал Адамович. О том, *как* присутствует Россия во всем, что писала и чем жила Цветаева, говорить излишне и неуместно, ибо – очевидно. Конечно же, это – блоковская «любовь-ненависть». Поэтому для нее и царская Россия (страна матери, детства, юности, любви, семьи, поэзии, счастья); и «белая» Русь (подвиг, жертвы, героика, изгнание); и СССР, где обитают «просветители пещер», где после возвращения «в на-Марс – страну! в без-нас – страну!», «и снег не бел, и хлеб не мил», – одна вечная родина. Сложно множится и ее отношение к революции, большевикам, белому движению.

13 марта 1921 года. «Красная» Москва. Через год Цветаева покинет ее. Пора витийственного «вандейства», песнословий «Дону», Добровольческой армии, и —

Как закон голубиный вымарывая, —
Руку судорогой не свело, —
А случилось: заморское марево
Русским заревом здесь расцвело.

.....

Эх вы правая с левой две vareжки!
Та же шерсть вас вязала в клубок!
Дерзновенное слово: товарищи
Сменит прежняя быль: голубок.
Побратавшись да левая с правой,
Встанет – всем Тамерланам на грусть!
В струпьях, в язвах, в проказе – оправдана,
Ибо есть и останется – Русь.

О вопиющих противоречиях Цветаевой, о немыслимых крайностях написано и сказано много. Энергия и сила, дарованные ей в избытке, несли в себе и неизбежную разрушительность. Словесная буря и ураган ритма порой приводили поэта к своеобразному «хлыстовству» и «шаманству». Кажется, что ее «переполненности» было тесно в литературе и жизни. По-другому и быть с ней не могло. Но на всех путях и перепутьях, в буране самосожжения Цветаеву хранил «спасительный яд творческих противоречий», эта родовая купель художника, по Александру Блоку.

Всякий значительный поэт у одних вызывает восхищение и признательность, у других – отторжение и неприятие. Не в счет капризно-раздраженные сентенции «нарциссов чернильницы». В связи с этим очень важны суждения ее многолетних, в эмигрантскую пору, оппонентов-соперников, недругов-петербуржцев. Язвительной пристальностью и «стильной» солью оценок они донимали Цветаеву. Один из них – поэт и критик Георгий Адамович, другой – гениальный лирик нашего столетия Георгий Ив́анов.

Адамович и Цветаева – это долгая литературная война, с бездной взаимных претензий и выпадов; война не мелочная, вызванная глубинной чуждостью замечательных людей.

«Первый критик эмиграции», так заслуженно именовали Адамовича, был последователен и беспощаден, всегда и всюду, ко всему, что считал у Цветаевой слабым, недолжным, кокетливо-истерическим. Из его сокрушительных «мнений» можно составить небольшую антологию. Цветаева, кстати, отвечала тем же. Но вот в рецензии на сборник «После России» в июне 1928 года Адамович, изложив обычные для него и читателей соображения об «архивчерашней

поэзии Цветаевой», где «стих спотыкается на каждом шагу», а «музыка исчезла», неожиданно произносит: «...Марина Цветаева истинный и даже редкий поэт... есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т. е. врожденное сознание, что всё в мире – политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно всё – составляет один клубок, на отдельные источники не разложимый. Касаясь одной какой-нибудь темы, Цветаева всегда касается всей жизни». Здесь Адамович ясно и просто назвал самое существенное у Цветаевой, «строительное» начало ее поэзии и личности – **«всегда касается всей жизни»**.

Даровитый, умный, духовно-щедрый литературный враг оказался проницательнее многих «близких». Не случайно, что последняя запись в рабочей тетради Цветаевой, в июне 1939, накануне отъезда в Россию, – стихотворение Адамовича «Был дом, как пещера. О, дай же мне вспомнить...», с припиской М.И.: «Чужие стихи, но к-рые местами могли быть моими». Наверное, такими вот «местами»:

Был дом, как пещера. И слабые, зимние
Зеленые звезды. И снег, и покой...
Конец. Навсегда. Обрывается линия.
Поэзия, жизнь! Я прощаюсь с тобой.

Адамович прожил долгую жизнь. Он умер во Франции восьмидесятилетним патриархом. В 1972 году. Незадолго до смерти он напечатал одно из последних своих стихотворений. Называется оно «Памяти М. Ц.». Таинственная вещь:

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

.....

Не я виной. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виню ни в чем.
Все – по случайности, все – по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

Не лучшие стихи Адамовича, простенькие стихи. Но все искупает ровный и мягкий свет прощания и прощения.

Тяжкими были последние годы некогда баловня судьбы Георгия Иванова. А стихи писал он тогда «небесные». Несколько строк из письма Роману Гулю, из Франции в Америку (пятидесятые годы): «Насчет Цветаевой... Я не только литературно – заранее прощаю все ее выверты – люблю ее всю, но еще и «общественно» она очень мила. Терпеть не могу ничего твердокаменного и принципиального по отношению к России. Ну, и «ошибалась». Ну, и болталась то к красным, то к белым. И получала плевки от тех, и от других. «А судьи кто?» И камни, брошенные в нее, по-моему, возвращаются автоматически, как бумеранг, во лбы тупиц – и сволочей, – которые ее осуждали. И, если когда-нибудь возможен для русских людей «гражданский мир», взаимное «пожатие руки» – нравится это кому или не нравится – пойдет это, мне кажется, приблизительно по цветаевской линии». Странное, поразительное и проницательное признание. Его стоило привести хотя бы потому, что во многих писаниях о Цветаевой, в угоду безбрежной апологии поэта замалчивается или искажается неизбежная сложность (рядом с достоинствами провалы, срывы и тупики; с прозрениями – слепота; рядом с мощью и силой – слабость) его

искусства и жизни. Как большой художник, как «душа, не знающая меры», она всё это несла в себе. Такими, всяк на свой лад, были ее «братья по песенной беде» – Маяковский, Есенин, Пастернак.

В эмиграции ей, как и многим русским изгнанникам, открылась убийственная недолжность миропорядка вообще. Европа, где «последняя труба окраины о праведности вопиет», «после России» обернулась не меньшим адом. Антибуржуазность в крови у русских художников. Цветаева не исключение. В этом она наследница наших гигантов XIX века и Александра Блока (святое для нее имя). Потому именно ей принадлежит высокая и гневная скрижаль – стихотворение «Хвала богатым». Смешны и нелепы объяснения того, что в нем выражено, цветаевским «наперекор всем и всему», неустроенностью, неотступностью бед, нищетой, скитальчеством. Если предположить невозможное – ее благополучие на чужбине – она бы осталась Цветаевой в каждом слове, каждом поступке, каждом шаге и каждом вздохе.

Всюду у Цветаевой звучит отказ от мелочного торгашества времени, тюремно-казарменных «эпох», чертовщины урбанизма («Ребенок растет на асфальте и будет жестоким как он»). С годами все сильнее мучает искушение «Творцу вернуть билет» —

Отказываюсь – быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей

Отказываюсь – быть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз – по теченью спин.

Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

На заре торжества и всевластия «печатной сивухи», по слову так ценимого ею Василия Розанова, она с твердой правотой и брезгливостью отвергла в стихотворении «Читатели газет» развоплощение человек перед «информационным зеркалом», нарастающим до наших дней планетарным бедствием:

Газет – читай: клевет,
Газет – читай: растрат.

Что ни столбец – навет,
Что ни абзац – отврат...

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

.....

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смесители кровей
Писатели газет!

– В поэзии Цветаевой присутствуют с замечательной живостью драгоценные свойства русской литературы, ее родовые черты: трагическое переплетенье «родного и вселенского», всеотзывчивость, сострадание и сорадование миру и человеку, лихое веселье и беспросветная тоска. По-пушкински, по-лицейски она воспела дружбу, братство, товарищество. Ее русскость сказалась во многом. Как, впрочем, и европейскость. А как у нее звучит такое **наше** – дорога, дорожное, станции, вокзалы, рельсы, встречи, расставанья – «провожаю дорогу железную»!

Первые книги Цветаевой появились в начале 10-х годов. Ее искусство развивалось с невероятной интенсивностью и на родине, и в эмиграции. Очаровательная домашность первых стихов, их искренность держались на сильной изобразительной воле, сдерживающей патетику духовно-душевного максимализма и воинствующего романтизма. Поэтический мир Цветаевой всегда оставался монологическим, но сложнейшим образом оркестрованным вопросительными заклинаниями, плачем и пением. При устойчивой, обуздывающей традиционности, ее поэзия восприимчива к авангардным способам лирического выражения (Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак).

Духовно и эстетически близкий Цветаевой выдающийся историк литературы и критик Дмитрий Святополк-Мирский, человек странно-страшной судьбы, указал на важную особенность словесного дара поэта: «... с точки зрения чисто языковой Цветаева очень русская, почти что такая же русская, как Розанов или Ремизов, но эта особо прочная связь ее с русским языком объясняется не тем, что он русский, а тем, что он язык: дарование ее напряженно словесное, лингвистическое, и пиши она, скажем, по-немецки, ее стихи были бы такими же насыщенно-немецкими, как настоящие ее стихи насыщенно-русские».

О словесно-образной манере Цветаевой, ее стиховом симфонизме превосходно, с отчетливой краткостью писал Владислав Ходасевич в 1925 году в рецензии на поэму «Молодец». В частном (сказочное, народно-песенное и литературно-книжное) он провидчески «схватил» общее: «Некоторая «заумность» лежит в природе поэзии. Слово и звук в поэзии не рабы смысла, а равноправные граждане. Беда, если одно господствует над другим. Самодержавие «идеи» приводит к плохим стихам. Взбунтовавшиеся звуки, изгоняя смысл, производят анархию, хаос – глупость.

Мысль об освобождении материала, а может быть, и увлечение Пастернаком принесли Цветаевой большую пользу: помогли ей найти, понять и усвоить те чисто звуковые и словесные знания, которые играют такую огромную роль в народной песне. <...> ... сказка Цветаевой столько же хочет *поведать*, сколько и просто *спеть*, вывести голосом, «проголосить». Необходимо добавить, что удастся это Цветаевой изумительно. <...> Ее словарь и богат, и цветист, и обращается она с ним мастерски». Слова Ходасевича справедливы применительно ко всей поэзии Цветаевой, поэзии насквозь музыкальной в самом простом и в сложно-модерном смыслах. В этом отношении после Блока ей нет равных.

Яркий и неповторимый язык Цветаевой поражал и поражает. Хотя оригинального писателя без оригинального языка не бывает вообще, суть не в самой оригинальности стиля, а в ее природе. «Писать надо не талантом, а прямым чувством жизни», – заметил великий Андрей Платонов. Стил – уже следствие. Слова Платонова вполне относимы к Цветаевой. Ее мировидение, мироощущение и породили именно «цветаевское» мировоплощение.

В 1916 году с дерзким задором она выкрикнула:

Вечной памяти не хочу

На родной земле.

Позднее, в ноябре 1920, было и такое упование:

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь
– рванусь.
О милая! – Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.
И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.
Нет, выпрастаю руки! – Стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен
– Смерть – выбью! Верст на тысячу в округе
Растоплены снега и лес спален.

И если все ж – плеча, крыла, колена
Сжав – на погост дала себя увести, —
То лишь затем, чтобы, смеясь над тленом,
Стихом восстать – иль розаном расцвести!

И ВОССТАЛА!

Ныне же вся родина причащается тайн своих



Марина Цветаева. Скульптура работы Н. Крандиевской. 1912 г. Раскрашенный гипс.

Осень в Тарусе

Ясное утро не жарко,
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.

Несколько слов поневоле
Все повторяешь подряд.
Где-то бубенчики в поле
Слабо звенят.

В поле звенят? На лугу ли?
Едут ли на молотьбу?
Глазки на миг заглянули
В чью-то судьбу.

Синяя даль между сосен,
Говор и гул на гумне...
И улыбается осень
Нашей весне.

Жизнь распахнулась, но все же...
Ах, золотые деньки!
Как далеки они, Боже!
Господи, как далеки!

Ока

3

Всё у Боженьки – сердце! Для Бога
Ни любви, ни даров, ни хвалы...
Ах, золотая дорога!
По бокам молодые стволы!

Что мне трепет архангельских крылий?
Мой утраченный рай в уголке,
Где вереницею плыли
Золотые плоты по Оке.

Пусть крыжовник незрелый, несладкий, —
Без конца шелухи под кустом!
Крупные буквы в тетрадке,
Поцелуи без счета потом.

Ни в молитве, ни в песне, ни в гимне
Я забвенья найти не могу!
Раннее детство верни мне
И березки на тихом лугу.

4

Бежит тропинка с бугорка,
Как бы под детскими ногами,
Всё так же сонными лугами
Лениво движется Ока;

Колокола звонят в тени,
Спешат удары за ударом,
И всё поют о добром, старом,
О детском времени они.

О, дни, где утро было рай
И полдень рай и все закаты!
Где были шпагами лопаты
И замком царственным сарай.

Куда ушли, в какую даль вы?
Что между нами пролегло?
Всё так же сонно-тяжело
Качаются на клумбах мальвы...

Домики старой Москвы

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Где потолки расписные,
До потолков зеркала?

Где клавесина аккорды,
Темные шторы в цветах,
Великолепные морды
На вековых воротах,

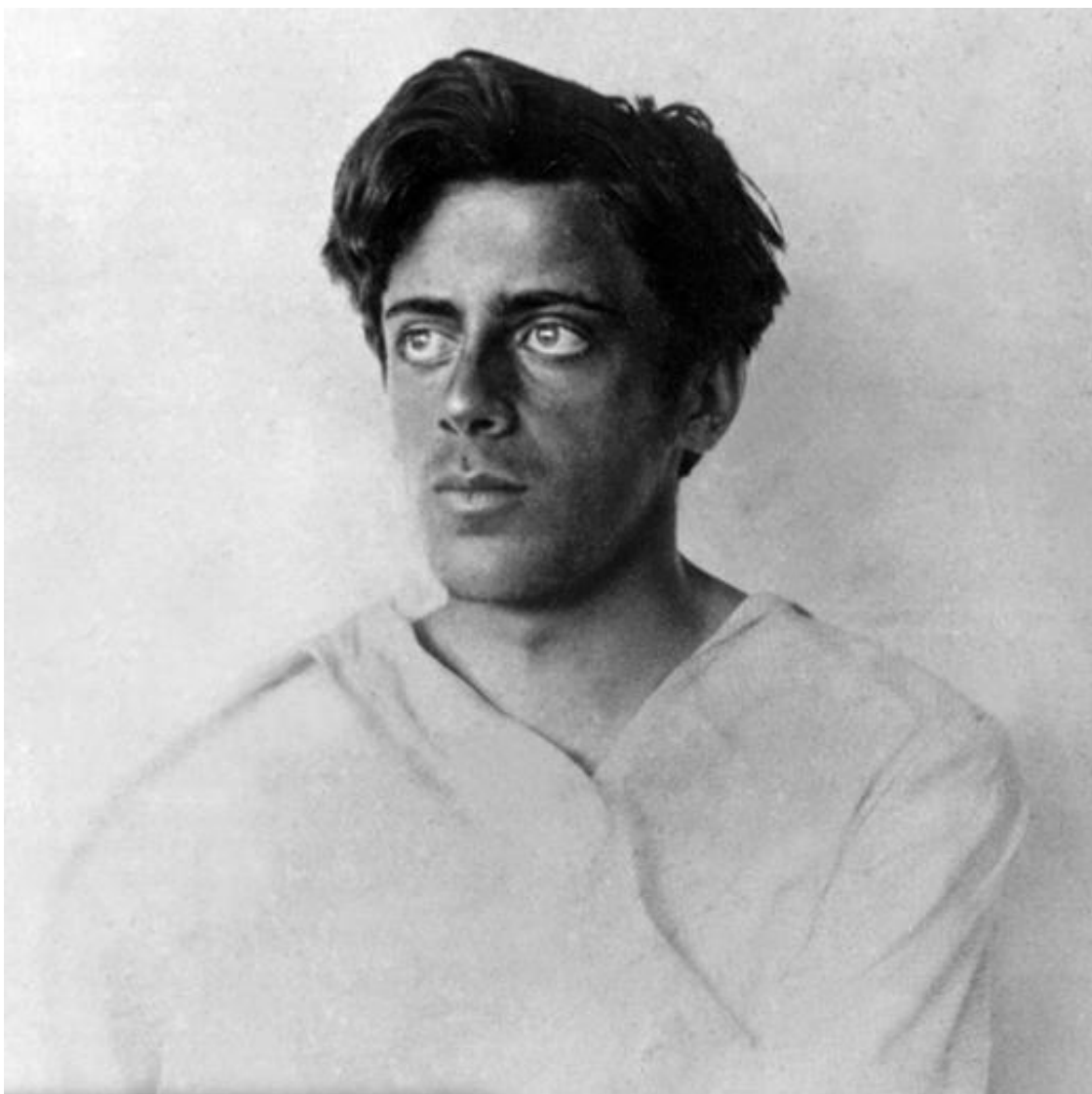
Кудри, склоненные к пыльцам,
Взгляды портретов в упор...
Странно постукивать пальцем
О деревянный забор!

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды, —
Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы — их право!
И погибаете вы,
Томных прабабушек слава,
Домики старой Москвы.

В. Я. Брюсову

– Я забыла, что сердце в вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом...
1912



Сергей Эфрон



Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Коктебель, 1911 г.

Идешь, на меня похожий...

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти – слепоты куриной
И маков набрав букет —
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь – могила,
Что я появлюсь, грозя...
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились...
Я тоже *была*, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Коктебель, 3 мая 1913

«Моим стихам, написанным так рано...»

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я – поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти, —
Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Коктебель, 13 мая 1913

«Вы, идущие мимо меня...»

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
— И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!

О, летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале...
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

Встреча с Пушкиным

Я подымаюсь по белой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
Выситься над высотой.

Слева – крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна – окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте...
Смуглую руку у лба...
– Точно стеклянная на повороте
Продребезжала арба... —

Запах – из детства – какого-то дыма
Или каких-то племен...
Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен.

Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти.

Не опираясь о смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны,
Каждого встречного пса! —

Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаще аллей,

Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,

Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
Очаровательных губ.

Эти слова: никогда и навеки,
За колесом – колею...
Смуглые руки и синие реки,
– Ах, – Мариулу твою! —

Треск барабана – мундир властелина —
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье
Только ему, Королю!
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале... – Как я люблю...

Кончено... – Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба – не так ли? —
Глядя, как где-то у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
Первый блеснул огонек.

И – потому что от худшей печали
Шаг – и не больше – к игре! —
Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе.

1 октября 1913

«Уж сколько их упало в эту бездну...»

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось:
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все – как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой,

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
– Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

– К вам всем – что мне, ни в чем
не знавшей меры,
Чужие и свои?!
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду *да и нет*,
За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне – прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность,
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
– Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.

8 декабря 1913

«БЫТЬ нежной, бешеной и шумной...»

Быть нежной, бешеной и шумной,
– Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной, —
Прелестной быть!

Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины...
– О возмущенье, что в могиле
Мы все равны!

Стать тем, что никому не мило,
– О, стать как лед! —
Не зная ни того, что было,
Ни что придет,

Забыть, как сердце раскололось
И вновь срослось,
Забыть свои слова и голос,
И блеск волос.

Браслет из бирюзы старинной —
На стебельке,
На этой узкой, этой длинной
Моей руке...

Как, зарисовывая тучку
Издалека,
За перламутровую ручку
Бралась рука,

Как перепрыгивали ноги
Через плетень,
Забыть, как рядом по дороге
Бежала тень.

Забыть, как пламенно в лазури,
Как дни тихи...
– Все шалости свои, все бури
И все стихи!

Мое свершившееся чудо
Разгонит смех.
Я, вечно-розовая, буду
Бледнее всех.

И не раскроются – так надо

– О, пожалей! —
Ни для заката, ни для взгляда,
Ни для полей —

Мой опущенные веки.
– Ни для цветка! —
Моя земля, прости навеки,
На все века.

И так же будут таять луны
И таять снег,
Когда промчится этот юный,
Прелестный век.

Феодосия, Сочельник 1913

Генералам двенадцатого года

Сергею

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели
И голоса.

И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце вырезали след —
Очаровательные франты
Минувших лет.

Одним ожесточеньем воли
Вы брали сердце и скалу, —
Цари на каждом бранном поле
И на балу.

Вас охраняла длань Господня
И сердце матери. Вчера —
Малютки-мальчики, сегодня —
Офицера.

Вам все вершины были малы
И мягок — самый черствый хлеб,
О молодые генералы
Своих судеб!

.

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, Тучков-четвертый,
Ваш нежный лик,

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна.

О, как — мне кажется — могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Три сотни побеждало – трое!
Лишь мертвый не вставал с земли.
Вы были дети и герои,
Вы все могли.

Что так же трогательно-юно,
Как ваша бешеная рать?..
Вас златокудрая Фортуна
Вела, как мать.

Вы побеждали и любили
Любовь и сабли острее —
И весело переходили
В небытие.

Феодосия, 26 декабря 1913

«Ты, чьи сны еще непробудны...»

Ты, чьи сны еще непробудны,
Чьи движенья еще тихи,
В переулочек сходи Трехпрудный,
Если любишь мои стихи.

О, как солнечно и как звездно
Начат жизненный первый том,
Умоляю – пока не поздно,
Приходи посмотреть наш дом!

Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций
Цвета пепла и серебра.

Этот мир невовратно-чудный
Ты застанешь еще, спеши!
В переулочек сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.

<1913>

«Над Феодосией угас...»

Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.

Иду вдоль гонуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шелковые струи
Колеблются вокруг колен.

И скромн ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.

Иду вдоль крепостных валов,
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадежность ищет слов.

Феодосия, 14 февраля 1914

Але

1

Ты будешь невинной, тонкой,
Прелестной – и всем чужой.
Пленительной амазонкой,
Стремительной госпожой.

И косы свои, пожалуй,
Ты будешь носить, как шлем,
Ты будешь царицей бала —
И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,
Насмешливый твой клинок,
И все, что мне – только снится,
Ты будешь иметь у ног.

Все будет тебе покорно,
И все при тебе – тихи.
Ты будешь, как я – бесспорно —
И лучше писать стихи...

Но будешь ли ты – кто знает —
Смертельно виски сжимать,
Как их вот сейчас сжимает
Твоя молодая мать.

5 июня 1914

2

Да, я тебя уже ревную,
Такою ревностью, такой!
Да, я тебя уже волную
Своей тоской.

Моя несчастная природа
В тебе до ужаса ясна:
В твои без месяца два года —
Ты так грустна.

Все куклы мира, все лошадки
Ты без раздумия отдашь —
За листик из моей тетрадки
И карандаш.

Ты с няньками в какой-то ссоре —
Все делать хочется самой.
И вдруг отчаянье, что «море
Ушло домой».

Не передашь тебя – как гордо
Я о тебе ни повествуй! —
Когда ты просишь: «Мама, морду
Мне поцелуй».

Ты знаешь, все во мне смеется,
Когда кому-нибудь опять
Никак тебя не удастся
Поцеловать.

Я – змей, похитивший царевну, —
Дракон! – Всем женихам – жених!
О свет очей моих! – О ревность
Ночей моих!

6 июня 1914

Бабушке

Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?

Руки, которые в залах дворца
Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица —
Локоны в виде спирали.

Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, — кто Вы?

Сколько возможностей Вы унесли
И невозможностей — сколько? —
В ненасытимую прорву земли,
Двадцатилетняя полька!

День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
— Бабушка! Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от Вас ли?..

4 сентября 1914

Германии

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам,
Ну, как же я *тебя* оставлю?
Ну, как же я *тебя* предам?

И где возьму благоразумье:
«За око – око, кровь – за кровь», —
Германия – мое безумье!
Германия – моя любовь!

Ну, как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland¹,
Где все еще по Кенигсбергу
Проходит узколицый Кант,

Где Фауста нового лелея
В другом забытом городке —

Geheimrath Goethe² по аллее
Проходит с тросточкой в руке.

Ну, как же я тебя покину,
Моя германская звезда,
Когда любить наполовину
Я не научена, – когда, —

– От песенок твоих в восторге —
Не слышу лейтенантских шпор,
Когда мне свят святой Георгий
Во Фрейбурге, на Schwabenthor³.

Когда меня не душит злоба
На Кайзера взлетевший ус,
Когда в влюбленности до гроба
Тебе, Германия, клянусь.

Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном – Лорелей.

Москва, 1 декабря 1914

¹ Родина (нем.).

² Тайный советник Гете (нем.).

³ Швабские ворота (нем.).

Анне Ахматовой

Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.

Вас передашь одной
Ломаной черной линией.
Холод — в весельи, зной —
В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь — озноб,
И завершится — чем она?
Облачный — темен — лоб
Юного демона.

Каждого из земных
Вам заиграть — безделица!
И безоружный стих
В сердце нам целится.

В утренний сонный час, —
Кажется, четверть пятого, —
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

11 февраля 1915

«Мне нравится, что Вы больны не мной...»

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной —
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью – всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня – не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас на головах,
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами.

3 мая 1913

«Какой-нибудь предок мой был – скрипач...»

Какой-нибудь предок мой был – скрипач,
Наездник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром!

Не он ли, смуглый, крадет с арбы
Рукой моей – абрикосы,
Виновник страстной моей судьбы,
Курчавый и горбоносый.

Дивясь на пахаря за сохой,
Вертел между губ – шиповник.
Плохой товарищ он был, – лихой
И ласковый был любовник!

Любитель трубки, луны и бус,
И всех молодых соседок...
Еще мне думается, что – трус
Был мой желтоглазый предок.

Что, душу черту продав за грош,
Он в полночь не шел кладбищем!
Еще мне думается, что нож
Носил он за голенищем.

Что не однажды из-за угла
Он прыгал – как кошка – гибкий...
И почему-то я поняла,
Что он – *не* играл на скрипке!

И было все ему нипочем, —
Как снег прошлогодний – летом!
Таким мой предок был скрипачом.
Я стала – таким поэтом.

23 июня 1915

«Спят трещотки и псы соседовы...»

Спят трещотки и псы соседовы, —
Ни повозок, ни голосов.
О, возлюбленный, не выводывай,
Для чего развожу засов.

Юный месяц идет к полуночи:
Час монахов – и зорких птиц,
Заговорщиков час – и юношей,
Час любовников и убийц.

Здесь у каждого мысль двоякая.
Здесь, ездок, торопи коня.
Мы пройдем, кошельком не звякая
И браслетами не звеня.

Уж с домами дома расходятся,
И на площади спор и пляс...
Здесь, у маленькой Богородицы,
Вся Кордова в любви клялась

У фонтана присядем молча мы
Здесь, на каменное крыльцо,
Где впервые глазами волчьими
Ты нацелился мне в лицо.

Запах розы и запах локона.
Шелест шелка вокруг колен...
О, возлюбленный, – видишь, вот она —
Отравительница! – Кармен.

5 августа 1915

«Заповедей не блюла, не ходила к причастью...»

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
– Видно, пока надо мной не пропоют литию, —
Буду грешить – как грешу – как грешила:
со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!

Други! – Сообщники! – Вы, чьи наущения —
жгучи!
– Вы, сопреступники! – Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, —
Богу на Страшном суде вместе ответим,
Земля!

26 сентября 1915

«Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!...»

Я знаю правду! Все прежние правды
прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем — поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет выюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

3 октября 1915

«Цыганская страсть разлуки!...»

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки,
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,
Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915

«Никто ничего не отнял!..»

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар – неравен,
Мой голос впервые – тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не шурясь, —
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.

12 февраля 1916

«Ты запрокидываешь голову...»

Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая тебя верста... —

Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол уже мечту.
В тебе божественного мальчика, —
Десятилетнего я чту.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Мальчишескую боль высвистывай,
И сердце зажимай в горсти...
Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник – прости!

18 февраля 1916

«Не сегодня-завтра растает снег...»

Не сегодня-завтра растает снег.
Ты лежишь один под огромной шубой.
Пожалеть тебя, у тебя навек
Пересохли губы.

Тяжело ступаешь и трудно пьешь,
И торопится от тебя прохожий.
Не в таких ли пальцах садовый нож
Зажимал Рогожин?

А глаза, глаза на лице твоём —
Два обугленных прошлолетних круга!
Видно, отроком в невеселый дом
Завела подруга.

Далеко – в ночи – по асфальту – трость,
Двери настежь – в ночь – под ударом ветра.
Заходи – гряди! – нежеланный гость
В мой покой пресветлый.

4 марта 1916

«За девками доглядывать, не скис...»

За девками доглядывать,
Не скис ли в жбане квас, оладьи не остыли ль,
Да перстни пересчитывать, анис
Всыпая в узкогорлые бутылки.

Кудельную расправить бабке нить,
Да ладаном курить по дому росным,
Да под руку торжественно проплыть
Соборной площадью, гремя шелками, с крестным

Кормилица с дородным петухом
В переднике – как ночь ее повойник! —
Докладывает древним шепотком,
Что молодой – в часовенке – покойник...

И ладанное облако углы
Унылой обволакивает ризой,
И яблони – что ангелы – белы,
И голуби на них – что ладан – сизы.

И странница, потягивая квас
Из чайника, на краешке лежанки,
О Разине досказывает сказ
И о его прекрасной персиянке.

26 марта 1916

Стихи о Москве

1

Облака – вокруг,
Купола – вокруг,
Надо всей Москвой
Сколько хватит рук! —
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое
Невесомое!

В дивном граде сем,
В мирном граде сем,
Где и мертвой – мне
Будет радостно, —
Царевать тебе, горевать тебе,
Принимать венец,
О мой первенец!

Ты постом говей,
Не сурьми бровей
И все сорок – чти —
Сороков церквей.
Исходи пешком – молодым шажком! —
Все привольное
Семихолмие.

Будет твой черед:
Тоже – дочери
Передашь Москву
С нежной горечью.
Мне же вольный сон, колокольный звон,
Зори ранние —
На Ваганькове.

31 марта 1916

2

Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.

По церковке – все сорок сороков,
И реющих над ними голубков.

И Спасские – с цветами – ворота,

Где шапка православного снята.

Часовню звездную – приют от зол —
Где вытертый от поцелуев – пол.

Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.

К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу.

Червонные возблещут купола,
Бессонные взгремят колокола,

И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...
Ты не раскаешься, что ты меня любил.

31 марта 1916

3

Мимо ночных башен
Площади нас мчат.
Ох, как в ночи страшен
Рев молодых солдат!

Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Ох, этот рев зверский!
Дерзкая – ох – кровь!

Мой рот разгарчив,
Даром, что свят – вид.
Как золотой ларчик
Иверская горит.

Ты озорство прикончи,
Да засвети свечу,
Чтобы с тобой нонче
Не было – как хочу.

31 марта 1916

4

Настанет день – печальный, говорят!

Отцарствуют, отплачут, отгорят,
– Остужены чужими пятаками —
Мои глаза, подвижные как пламя.
И – двойника нащупавший двойник —
Сквозь легкое лицо проступит лик.
О, наконец тебя я удостоюсь,
Благообразия прекрасный пояс!

А издали – завижу ли и вас? —
Потянется, растерянно крестясь,
Паломничество по дорожке черной
К моей руке, которой не отдерну,
К моей руке, с которой снят запрет,
К моей руке, которой больше нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.